

О.Б. Лебедева

Томский государственный университет (Россия, Томск)

**ЗАМЕТКИ О НЕАПОЛИТАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ:
«ТРУД И ЗЛО, ПРАЗДНОСТЬ И СЧАСТЬЕ ТУТ ОЗНАЧАЮТ
ОДНО И ТО ЖЕ»**

Как и все приоритетные концепты русской неаполитаны Нового времени, антропологический образ топоса сформировался уже в самых ранних ее документах. Русская неаполитана XVIII в. довольно лаконична в своих текстовых воплощениях, которые по совокупному объему разделяются на две неравные группы. Меньшую составляют тексты, опубликованные непосредственно в XVIII в. и ставшие достоянием массового русского эстетического сознания синхронно времени своего появления¹; начиная со второй половины XIX в. в печати появляются другие, более значительные и объемные, материалы русской неаполитаны XVIII в.: путевые записки масона В.Н. Зиновьева²; путешествие стольника П.А. Толстого³; записки анонимного члена свиты великого князя Павла Петровича (графа Северного), простолюдина по происхождению, сопровождавшего русскую великокняжескую чету в ее турне по Европе⁴; наконец, отдельные издания мемуаров русских

¹ В хронологическом порядке: роман Ф.А. Эмина «Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда», в ч. II которого есть короткий неаполитанский эпизод (СПб., 1763); публикация в газете «Московские ведомости» (№ 40–42, май 1766 г.) сообщения об извержении Везувия; публикация «Статейного списка...» Б.П. Шереметева, предпринятая Н.И. Новиковым: *Древняя российская вивлиофика*. СПб., 1773–1774. Ч. 5; путевые записки Н.А. Демидова (1724–1789), внука знаменитого уральского горнопромышленника: *Журнал путешествия его высококордия г-на статского советника и ордена св. Станислава кавалера Никиты Акинфиевича Демидова*. М., 1786. Н.А. Демидов был известным меценатом своей эпохи, и в путешествии по Европе его сопровождал первый русский скульптор Федот Шубин.

² *Журнал путешествия В.И. Зиновьева по Германии, Италии, Франции и Англии в 1784–1788 годах* // *Русская старина*. 1878. Т. 23, № 9. Зиновьев Василий Николаевич (1754–1816) – известный масон, соученик А.Н. Радищева и А.М. Кутузова, друг С.Р. Воронцова.

³ *Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе. 1697–1699* // *Русский архив*, 1888. Кн. 1, вып. 2–4; Кн. 2, вып. 5–8. Толстой Петр Андреевич (1645–1729) – один из крупнейших государственных деятелей эпохи Петра I, дипломат, родоначальник графской династии Толстых.

⁴ *Второе путешествие Павла Петровича за границу. Записки участника* (1791 г.) // *Русский архив*. 1902. Кн. 3, вып. 2.

дипломатов, посланников при неаполитанском дворе, Ф.Г. Головкина и А. Чарторижского, опубликованы уже в начале XX в.¹

Однако ставшие достоянием литературного процесса на век (или даже на два века, как в случае с П.А. Толстым) позже той эпохи, когда они были созданы, эти документы русской неаполитаны тем не менее характеризуются общетипологическим родством с публикациями XVIII в.: в своей совокупности оба ряда текстов зафиксировали и образ Неаполя в восприятии самых ранних русских путешественников Нового времени, и типологию национального сознания, с позиций которого этот образ воспринимался и формировался.

Абсолютное большинство текстов (за исключением романа Ф. Эмина «Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда», о котором речь еще впереди) принадлежит к разряду эпистолярно-мемуарных эгодокументов, особенностью которых для XVIII в. является то, что в эти сравнительно ранние времена новой русской литературы частные письма, дневники и путевые записки не мыслились своими авторами как тексты, предназначенные для печати; поэтому достоянием современников они становились крайне редко. Тем не менее почти все они (за исключением записок Толстого) или созданы, или опубликованы в 1760–1790-х гг., в эпоху не только установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Обеих Сицилий, но и первого бурного расцвета русской публицистической и повествовательной прозы. В своих жанровых структурах они отражают основную тенденцию развития этой ранней прозы: ярко выраженное тяготение художественной литературы к формам, имитирующим эгодокумент (эпистолярный, дневник, путевые записки, мемуары, повествование от первого лица героя, экспликация персонифицированного образа автора в круг персонажей и сюжетосложение художественных жанров).

Невозможно усомниться в том, что эта тенденция в обоих рядах русской словесности – документальном и художественном – является результатом персонализации массового эстетического сознания и знаменует выдвижение антропологического аспекта на приоритетные позиции литературного процесса. В случае с документальными жанрами, по видимости ориентированными на объект, а не на субъект описания, выражением этой тенденции могут стать два фактора: или центральное положение антропологического аспекта описания, или просто сам импульс

¹ Головкин Ф.Г. Двор и царствование Павла I: Портреты, воспоминания и анекдоты. М., 1912. Предисл. и примеч. С. Бонизэ, пер. с фр. А. Кугеля; Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I: в 2 т. / пер. с фр. А. Дмитриевой; ред. и вступ. ст. А. Кизеветтера. М., 1912.

автора эгодокумента к его созданию – а в своем абсолютном большинстве авторы эгодокументов XVIII в. не являются профессиональными литераторами, не осознают себя таковыми и не претендуют на эту роль. Эта общая эстетическая (или, вернее, мировоззренческая) позиция имеет свои следствия в типологии и специфике неаполитанского локального текста на данной стадии его формирования: на протяжении XVIII в., пожалуй, именно антропологический аспект описания постепенно становится приоритетным для русской неаполитаны, совершенно независимо от того, являются ли объектами описания люди или топографические реалии: эти последние имеют свойство персонифицироваться и вбирать в себя антропологические коннотации, как это происходит, например, с образом Везувия в эгодокументах XVIII в.

Становление антропологического образа Неаполя начинается с общего взгляда на город, на его местоположение и толпу, заполняющую его улицы. Надо сказать, что собственно урбанистический аспект во всех описаниях или вообще отсутствует, или минимален: городу Неаполю как таковому все без исключения его русские посетители уделяют минимум внимания, ограничиваясь самыми общими замечаниями, в которых содержится похвала скорее местоположению, нежели самому городу, как это демонстрируют два текста, разделенные практически веком: «Статейный список...» Бориса Петровича Шереметева, описывающий совершенное в 1796 г. путешествие, стал достоянием русских читателей в том самом 1773 г., весной которого в Неаполь приехал Никита Акинфиевич Демидов:

<...> приехали Неаполитанского государства в столичный город Неаполь. Тот город Неаполь стоит над морем, строение в нем палатное хорошее <...> и он весьма многолюдный город <...>¹;

После обеда в 4 часа при самом въезде в Неаполь весьма показалось нам его местоположение, широкие прямые улицы вымощенные большими плитами и застроенные по обеим сторонам высокими домами. <...>

¹ Статейный список посольства ближнего Боярина и наместника Вятского Бориса Петровича Шереметева в Краков, Венецию, Рим и Мальту в 7205 (1697) годе // Древняя российская вивлиофика. 2-е изд. Ч. 5. М., 1788 (1-е изд.: 1773–1774). С. 360–361. Запись от 8 апреля. Посольство Шереметева на три года опережает европейское путешествие стольника П.А. Толстого, но, в отличие от текста записок Толстого, путевые заметки анонимного спутника Шереметева были напечатаны уже в 70-х гг. XVIII в., и эта публикация до некоторой степени компенсирует неизвестность путевых записок Толстого русским читателям своей очевидной типологической близостью к повествованию русского стольника. Далее текст «Статейного списка...» цитируется по этому изданию с указанием фамилии автора и номера страницы.

Не можно ничего вообразить лучше и отменнее во всех видах города Неаполя, с которой стороны на оной ни посмотришь. Он поселен на берегу морского Кратерного залива <...>¹.

Через 20 с лишним лет именно таким, каким его описали знатный боярин конца XVII в. и просвещенный меценат конца XVIII в., увидит Неаполь младший современник Демидова, безмянный служитель демократического происхождения, который сопровождал в турне по Европе русскую великокняжескую чету, Павла Петровича и Марию Федоровну, путешествовавших под именем графов Северных – но с его записками русские читатели познакомятся только век спустя:

Город Неаполь собою очень хорош: весь выложен плитою; улицы есть хорошие и широкие, а много и узких; дома точно такие, как в Риге архитектуры очень похожа².

Нельзя не обратить внимание на одну типологическую черту, объединяющую взгляд на Неаполь самых разных людей на протяжении всей истории неаполитаны классического периода русской литературы и обозначившуюся у самых ранних ее истоков на рубеже XVII–XVIII вв. – это стремление увидеть в чужом иноментальном пространстве приметы своего, вызывающее к жизни аналогии непривычных форм с привычными. Уже основоположник русской неаполитаны П.А. Толстой счел, что «<...> в палатах, в которых пишут приход и расход казны <...> сидят многолюдно подобно тому, как бывает и в Московских приказах много подьячих», что «<...> за каретами людей пеших ходит много подобно обыкновению Московскому», а также и то, что «Обыкность в Неаполе по праздникам подобна Московской» и «Палаты Неаполитанских жителей модою особою, не так, как в Италии, в иных местах подобиются много Московскому палатному строению»³. Через век после него не только слуга великокняжеской четы, носитель профанного типа сознания, но и просвещенный масон Василий Николаевич Зиновьев при взгляде на Неаполь совершенно одинаково вспомнят о России и русских обычаях:

¹ Журнал путешествия Его высококордия господина статского советника и ордена св. Станислава кавалера Никиты Акинфиевича Демидова. М., 1786. С. 116–117. Пребывание Демидова в Неаполе относится к февралю–марту 1773 г. Далее текст цитируется по этому изданию с указанием фамилии автора и номера страницы.

² Второе путешествие Павла Петровича за границу. Записки участника (1791 г.). Русский архив. 1902. Кн. 3, вып. 2. С. 450. Далее текст цитируется по этому изданию с указанием сокращенного названия («Записки участника») и страницы.

³ Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе. 1697–1699 // Русский архив. 1888. Кн. 1, вып. 2. С. 27, 29, 49.

«Неаполь. 16 февраля 1785. Tarantel очень хороша. Пляска сия очень на нашу походит, особливо когда цыгане пляшут»¹.

Этот взгляд, с одной стороны, стремящийся выплеснуться за пределы города Неаполя в его изобилующий чудесами природы, памятниками истории и искусства регион, а с другой – ищущий и находящий свое в чужом, останется характеристической приметой русской неаполитаны вплоть до своего кульминационного воплощения в книге «Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. 1847» (СПб., 1855) В.Д. Яковлева, записки которого в своем неаполитанском разделе, во-первых, посвящены чему угодно, но только не дескрипции города, а во-вторых – позиционируют русского путешественника в пространстве Южной Италии как на родине души, в результате чего иноментальное пространство в рецепции русского путешественника теряет какой бы то ни было смысловой оттенок «чужого».

Если же говорить о собственно городских неаполитанских впечатлениях русских путешественников XVIII в., то наиболее очевидной сферой общего внимания, изумления, восхищения и интереса к чудесам города самых ранних наблюдателей неаполитанской жизни является ее религиозный аспект. В первую очередь это многочисленные неаполитанские соборы, напоминающие скорее музеи, чем культовые здания, и поражающие взгляд, привычный к архитектуре и внутреннему убранству православного храма, своим категорическим внешним и внутренним несоответствием национальным русским представлениям о доме Божиим:

<...> а паче церкви преизрядные украшением всяким, предорогими живописями, а больше мраморами <...>; Сей монастырь [Сан-Мартино] построен весьма на превысокой горе над самым Неаполем, и построен высокою работою, а наипаче церковь весьма украшена мраморами разноцветными, живописью лучшею и резьбами предорогими, пол в ней сделан из розных мраморов хорошими узорами <...> (Шереметев. С. 361, 413);

<...> а что удивительнее всего нам в Неаполе показалось, то было множество церквей и их великолепие, которое состоит не в наружной фасаде; но красота их внутри сохраняется (Демидов. С. 129).

И здесь тоже очень уместно снова вспомнить стольника П.А. Толстого: по меньшей мере треть объема его записок отведена описанию чудесных соборов Неаполя и не менее чудесных произведений искусства, в них сохраняющихся. И точно так же, как в свое время это было у Толстого, внимание и любопытство ранних русских путешественников вызывают «чудеса» в религиозном смысле этого понятия. Уже в «Ста-

¹ Русская старина. 1878. Т. 23, № 9. С. 411.

тейном списке...» боярина Шереметева содержится подробное описание чуда крови покровителя Неаполя, святого Януария:

Сия святая кровь хранится в малом хрустальном сосуде; в половину того сосуда видением, аки бы запеклась, и тот сосудец повернули вверх дном; кровь же не переливается, а видится аки бы засохла, и стоит вверху того сосуда; а как почали служить литургию и как прочитали Евангелие, то она святая кровь помалу начала опускаться вниз, и опустилась до самого дна <...> начала кипеть и перебираться вверх и вниз, зело пречудесно и удивительно <...> (Шереметев. С. 407–408).

П.А. Толстой также описывает несколько таких чудес, в частности нетипичную позу Христа на распятии в монастыре кармелитов: по преданию, фигура отклонила голову от летящего в нее пушечного ядра¹. Однако ближе к концу XVIII в. мотив чуда бесспорно переходит из религиозной сферы в натурфилософскую – до некоторой степени эта метафора намечается уже и в сказочно-мифологическом образе Неаполя, созданном П.А. Толстым: именно чудеса природы, и среди них в первую очередь Везувий, привлекают внимание русских путешественников, а религиозная экзальтация неаполитанцев начинает вызывать изумление. Если спутник боярина Шереметева нисколько не усомнился в том, что дождь, случившийся в ночь после извержения Везувия и прибивший пепел на улицах Неаполя, равно как и прекращение самого извержения, стали результатом крестного хода:

<...> ходили со кресты <...> по городу все духовные люди <...> и весь народ с женами и детьми; <...> после чего тоя ночь в полночь великой был дождь и весь оный пепел в городе по улицам прибило; в горе же огонь так утих, что только дыму мало видно было, и оттого все люди отраду восприяли (Шереметев. С. 415),

то путешествующий по Европе через 13 лет после публикации «Статейного списка...» В.Н. Зиновьев уже «Дивился суеверию: что поставленная статуя св. Генуария лаву рукой удерживает»². И в этой связи нельзя не обратить внимание на то, что сквозным мотивом русско-неаполитанских травелогов начиная с самых ранних и вплоть до конца XVIII в. является неукоснительно отмечаемое их авторами засилье лиц духовного звания на улицах Неаполя:

¹ Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе. С. 25–26.

² Журнал путешествия В.И. Зиновьева по Германии, Италии, Франции и Англии в 1784–1788 годах // Русская старина. 1878. Т. 23, № 9 (сентябрь – декабрь). С. 238. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием фамилии автора «Зиновьев» и страницы в скобках.

Стоя однажды на улице Толедо около часу, насчитал я более трехсот проходивших мимо в толпе Духовных разного рода. Это может дать некоторое понятие о неимоверном их множестве. <...> На улице, в кофейных домах, в Академиях, на всяком сходбище монах первый, кого встретишь¹.

Так органично, вслед за естественной сменой направлений взгляда путешественников (местность – город – горожане), намечается тенденция доминанты антропологического аспекта локальных неаполитанских описаний, достигающая своего апогея к концу XVIII в. Эта тенденция особенно очевидно вырисовывается в сравнении самых ранних путевых записок (Толстого и Шереметева), где антропологические заметки скупы и нейтральны, с травелогами последней трети XVIII в., в которых целые главы посвящены портретам современников-неаполитанцев:

Неаполитанцы мужеска полу к форестирам, т. е. к иноземцам, ласковы и приветны, а женский пол и девицы имеют нравы зазорные и скрываются подобно Московским обычаям. <...> Неаполитанские жители между собою сходятся часто и живут zelo любовно, а когда съедутся в дом, потчивают друг друга шербетамы и лимонадами, а вина пьют мало виноградного, а водок отнюдь не пьют <...>² –

вот, пожалуй, и все, что можно отметить в интересующем нас плане в записках стольника Толстого. Однако же к концу XVIII в. антропологический аспект в записках русских путешественников не только начинает доминировать, но и отчетливо распадается на два типа образности: персональный и собирательный образы неаполитанцев неукоснительно присутствуют во всех локальных описаниях или даже просто занимают их основной объем.

Персональные образы – это портретные зарисовки людей, облеченных властью: король Неаполитанский Фердинанд IV, королева Каролина и их всесильный первый министр кавалер Актон. Поводом к возникновению этого тематического раздела русской неаполитаны, несомненно, стало установление дипломатических отношений между Россией и Королевством Обеих Сицилий (1777), в результате чего в контингенте путешественников к концу века начали преобладать люди в официальном статусе посланника при королевском дворе Фердинанда IV, каковое положение сконцентрировало область их неаполитанских впечатлений в придворных сферах.

Впрочем, еще до того, как это случилось, в русско-неаполитанском травелогe начали набирать силу мотивы, обличающие внимание пока

¹ Лубяновский Ф.П. Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии в 1801, 1802, 1803 годах. СПб., 1805. Ч. 2. С. 124–125.

² Путешествие стольника П.А. Толстого // Русский архив. 1888. Кн. 2, № 5. С. 50.

еще неофициальных путешественников к социальным аспектам жизни Неаполя: личности короля и его взаимоотношениям с подданными. В частности, неаполитанский раздел путешествия В.Н. Зиновьева, который в качестве высокопоставленного масона в поздние времена царствования Екатерины II был диссидентом и антимонархистом по определению, посвящен в основном своем объеме весьма нелицеприятным наблюдениям именно такого рода и рисует Фердинанда IV далеко не самым идеальным из европейских монархов:

Неаполь. 6 февраля 1785 года. Нынче видел я короля¹ во всей своей славе, и он, кажется, целый день занят был, чтобы дурачества делать; 1-е, поутру экзерцировал своих липоротов², которые у него все, что ты можешь вздумать: они пехотные и морские, употребляются на охоте, без них рыбу король не ловит, при торжественных столах они вместо лакеев служат <...>.

Экзерциция сего странного войска довольно странна была, а паче – род марша, который они имеют, мне очень смешным показался и нигде, как на таком гладком месте, каково было, где они экзерцировали, в действие произведен быть не может³.

<...> Невзирая, однако же, на все сие, все первые из дворянства рвутся, чтобы быть принятыми в корпус липоротских волонтеров, и большая часть офицеров имеет ключи. Сие, коротко и ясно сказать, должно рабством назвать.

2. На курс [Корсо] явился он маскированным, в коляске, и долгое побище с другими в оной держал. Достойное упражнение короля!

3. Чтобы совершить всевозможное ... (вот тебе белое место, и ты уж вставь туда, что заблагорассудишь), явился в маскарад в кадриле с липоротскими офицерами, где они, в предлинном балете, представляли «поход Аргонавтов», и после завоевания «Золотого руна», поднесли оное <...> королеве в ложу <...>. Я очень рад, что сие позорище видел, ибо мне вероятнее стихи о Нероновых дурачествах и всем, мне кажется, здешний король к нему подходит⁴.

Любопытно, что и простолудин из свиты великого князя Павла Петровича, по долгу службы оказавшийся при неаполитанском дворе и с одной стороны имевший возможность близко наблюдать его жизнь, а с другой – помнящий о своем демократическом происхождении, до некоторой степени подтверждает со своей демократической точки зрения мнение принципиального антимонархиста Зиновьева о Фердинанде и об отношении к нему его подданных:

Король завсегда бывает на охоте и в городе никогда не живет первое, от земли трясения, а второе, что и народ его не любит, а больше почитает отца

¹ Фердинанд IV (1751–1825), с 1759 король Неаполитанский, с 1816 г. – Фердинанд I, король Общих Сицилий.

² Дворцовая гвардия, набирающаяся из жителей Липарских островов.

³ Далее следует сравнение с солдатами Фридриха Великого Прусского.

⁴ Журнал путешествия В.Н. Зиновьева. С. 234–235.

его. Отец его в Гишпании королем, а в Неаполе сын его, и он ни во что не входит, а делают все дела и правят все министры, а ему, что положено жалованья, тем и живи, а судить никого не может. Только в том свою жизнь и упражняет одною охотою, и у него от города четыре мили есть дворец, там все и живет. Однажды приехал он в город одно дело судить, то народ грязью закидал в карету и стекла все перебил; он назад и уехал¹.

Закономерно, однако, и то, что мнения о неаполитанском короле, принадлежащие русским дипломатам, посетившим Неаполь с официальной миссией через несколько лет после неофициального визита престолонаследника, оказываются в чем-то диаметрально противоположны мнению слуги Павла Петровича: не идеализируя лично короля неаполитанского, русские аристократы явно склонны идеализировать его взаимоотношения с народом:

<...> он едва мог подписать свою фамилию и вся энергия его характера истрачивалась на преодоление трудностей охоты и рыболовства. Но его душа оставалась благородной, а ум сохранил столько здравого смысла <...>. Если бы Фердинанд I получил воспитание, соответствующее его положению и достойное его душевной красоты, из него вышел бы один из потомков Генриха IV, наиболее напоминающий последнего.

– Я не более как дурак, – сказал он великому герцогу Тосканскому, – и не умею, как ты, во всякое время сочинять законы; но я прошу тебя обратить внимание на одно обстоятельство, а именно, что еще ни один неаполитанец не просил твоей защиты, тогда как меня постоянно окружают тосканцы!

Нельзя было не любить его, и, если бы не интриги королевы, ни один монарх никогда не пользовался бы такою популярностью. Учредив в Санта-Лючии шелковые мануфактуры под руководством кардинала Руффо, он устраивал там празднества для крестьянок и забавлялся их фамильярностями. Однажды они позволили себе даже обыскать карманы короля и отобрать золотые монеты, которые в них оказались².

Столь же двойственным оказывается и облик королевы Каролины, сохранный записками русских дипломатов конца XVIII в.:

Она обладала грациозною талией, ослепительно белою шеей, такими же руками и манерами, вполне достойными ее высокого положения; она хорошо говорила на многих языках, но была слишком словоохотлива. Что же касается ее качества, то я, желая говорить только одну правду, не могу ее особенно хвалить. Она была щедря, но только ради тщеславия, и ее благотворительность, о которой участвовавшие в ней говорили с большим увлечением, происходила больше от желания привлечь к себе приверженцев и создать

¹ Второе путешествие Павла Петровича за границу. С. 450.

² Головкин Ф.Г. Двор и царствование Павла I: Портреты, воспоминания и анекдоты. М., 1912. С. 274–275. Далее мемуары Головкина цитируются по этому изданию с указанием фамилии мемуариста и страницы.

глашатаев ее славы <...>. У нее было много ума, но он до того подчинился ее страстям и даже впечатлениям момента, что помогал ей лишь в совершении самых непростительных ошибок. Я полагаю, что никогда еще не было особы, говорившей и действовавшей с большею поспешностью, чем эта королева, и какого бы вы ни были мнения о результатах ее деятельности, вы не могли бы видеть без удивления, сколько дел она, в течение дня, успевала сделать, причем все эти дела касались разных интриг и требовали подробных разъяснений и подробной обработки (Головкин. С. 268–269).

<...> королева Каролина, которая неограниченно властвовала над своим мужем и королевством. Все делалось согласно ее желаниям. На официальных бумагах ее подпись ставилась рядом с подписью короля, в доказательство того, что они правили совместно. <...> Еще до брака Каролины с королем Фердинандом Мария-Терезия воспитывала в своей дочери любовь к властвованию. Эта любовь впоследствии сделалась ее страстью. Была у нее еще и другая страсть – иметь любовников. Рожденная с огненным темпераментом, разожженным климатом Италии, она все же ставила себе в заслугу, что у нее не было ни одного ребенка, не принадлежавшего Фердинанду¹.

Уже в этих портретных зарисовках людей, находящихся на вершине сословной иерархии, обнаруживается общее свойство антропологии русско-неаполитанского травелога: двойственность характеристик, которые нельзя назвать ни однозначно лестными, ни однозначно осудительными. Такая же двойственность очевидна и в собирательном образе неаполитанского простонародья, который вырастает на страницах путевых заметок русских наблюдателей неаполитанских нравов несколько позже – на протяжении первой половины XIX в. Наконец, она же объединяет противоположные сословия в одной картине: антропологический образ топоса русской неаполитаны складывается из противоположностей: персональные образы власть имущих дополнены собирательным образом неаполитанского простонародья. И более того: в далекой перспективе русской словесности столь же двойственным останется и литературно-художественный антропологический образ неаполитанского топоса, воплощенный в пушкинском герое, неаполитанском поэте-импровизаторе в отрывке «Египетские ночи».

Однако вернемся к собирательному образу неаполитанца. Вероятно, специфически неаполитанским словом «лаццароне», обозначающим столь же специфический тип неаполитанского горожанина, русская словесность обязана в основном книге Шарля Дюпати «Письма об Италии», в неаполитанском разделе которой 9 писем (CI–CVIII) посвящены описанию неаполитанских нравов, периодически переходящему в обобщенные характеристики неаполитанцев как таковых:

¹ Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I / пер. с фр. А. Дмитриевой; ред. и вступ. ст. А. Кизеветтера. М., 1912. Т. 1. С. 193.

Апеннинские горы утоляют жажду Неаполитанца своим снегом; море питает его своими рыбами и раковинами; Везувиева зола – плодами и хлебом: а вместо одежды служит ему климат. Живут немногим: ибо ничего не работают и много спят.

<...> в этом городе изобилие в народе чрезвычайное <...>. Везде надобно пробираться сквозь толпу <...> площади, улицы, лавки, дома, кажется, наводнены жителями.

Как ни мало работают, но и то для того только, чтобы когда-нибудь ничего не делать. Ничего не делать значит здесь счастье.

Простой народ спился с кругу. Большая часть его ни больше ни меньше не работает, кроме сколько надобно, чтобы не умереть с голоду. Сих людей называют *Лазаронами*. <...> Когда *Лазарони* достал в несколько часов чем прожить несколько дней, то он отдыхает, или прогуливается, или купается: он живет¹.

Эти лаконичные характеристики Дюпати надолго определили и тематический спектр, и общий характер, и сдержанно- (а иногда и несдержанно-) отрицательную эмфатику, и незначительный объем антропологических описаний в оригинальном русском травелоге: на протяжении всей первой половины XIX в. русских путешественников в Неаполе меньше всего интересует национальный характер или народная жизнь; их абсолютное предпочтение отдано памятникам древности и живописной природе «края чудес». Поэтому все путевые заметки первой половины XIX в. лаконично перебирают одни и те же характеристические черты собирательного образа неаполитанца, намеченного в «Письмах об Италии» Дюпати: лень, беспечность, склонность к воровству и плутням разного рода:

Труд и зло, праздность и счастье тут означают одно и то же. Достигнет ли кто до того состояния, что может уже не работать: он тогда счастлив. Тогда бродит он по городу, ест, кричит, смеется, обманывает и наконец на улице лежит против солнца. <...> *Лазароны* не что иное, как тунеядцы по профессии. Поставь на сию доску всех, кто живет в Неаполе, и *Лазаронов* никогда не исчислишь².

Здешний климат благоприятствует неге и действительно опасен для добродетели. Неаполитанец полунагой, довольный тем, что живет под небом вечно ясным и благодатным, праздно проводит почти всю жизнь свою на солнечном жару. Как скоро выработает он несколько карлин для дневного пропитания, идет в шинок и довольный собою, всем миром, ночью ложится на улице, в портике церкви или где случится и засыпает, не помышляя о будущем. *Лазарони* трудится только когда есть нечего; несмотря на сие, всякий в доме работник и на бирже поденщик из *Лазаронов*³.

¹ *Путешествие г. Дю Пати в Италию в 1765 году*. СПб., 1800. Ч. 2. С. 190, 191, 193, 196, 198.

² *Лубяновский Ф.П.* Указ. соч. С. 89–91.

³ *Броневский В.Б.* Письма морского офицера. М., 1825. Ч. 1. С. 123–124, 259.

<...> целый день ничего не делает и счастлив, когда может в праздности зевать и глядеть на окружающие его предметы. <...> здесь климат благоприятствует лени, и природа так богата, что Неаполитанец может почти круглый год прожить на улице без крыши и почти без одяния¹.

Леность неаполитанского народа знаменита в свете. Единственное наслаждение многих тысяч из них – лежать на солнце и ничего не делать. <...>. В оправдание лености и беспечности Неаполитанцев говорят, что это происходит от климата и от привольной жизни. При непрерывной теплоте воздуха нет надобности в тяжелой и дорогой одежде. Если можно за две копейки насытиться макаронами и виноградом, на что работать? Лучше всего выманить или украсть что-нибудь, и жить этим неделю, другую без труда и заботы².

Неаполитанец любит только свой климат, свои берега, свое море, свое солнце: они никогда не переменались, не изменяли ему, всегда его лелеяли, и он живет беспечно, день за днем, и останется таким <...>. Frutti di mare – главная пища Лазаронов, которых именно можно назвать не людьми, а Frutti di terra <...>³.

В Неаполе есть особенный класс тунеядцев, называемый *Лазарони*. Этот полунагой народ не имеет пристанища, земля служит ему постелью, а небо крышею. <...> Эта беззаботность, нерадение о лучшем существовании, равнодушие ко всему окружающему, когда первая нужда удовлетворена, заключают в себе много материала для чувства и воображения⁴.

Это единое мнение разных людей, разумеется, основано не только на литературном источнике, т.е. книге Дюпати: сама повторяемость мотивов описания свидетельствует о том, что в ее основе лежат реальные характеристические черты типологического неаполитанца, которые прежде всего бросаются в глаза мимолетному путешественнику. Несколько более объемные и подробные в своем антропологическом аспекте записки В.Б. Броневского предлагают анализ причин и обстоятельств, сформировавших этот национальный характер:

В течение многих веков находясь под властью победителей, различных мнениями и обычаями, Неаполитанцы получили от них многие пороки и сохранили мало собственных добродетелей; посему и неудивительно, что в характере их встречаются странные противоположности. Привыкнув к повиновению, они не могут сносить ни малейшего притеснения; суверены, но не фанатики; жадны к приобретению, а между тем ленивы; подозрительны, и всегда доверчивы; любят новости и ничего не переменили в своих обычаях.

¹ *Всеволожский Н.С.* Путешествие чрез Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж в 1836 и 1837 годах. М., 1839. Т. 2. С. 8–9.

² *Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии Николая Греча:* в 3 т. СПб., 1843. Т. 2. С. 285, 288.

³ *Погодин М.П.* Год в чужих краях. 1839. М., 1844. Ч. 1. С. 90, 164 Гл. «Неаполь».

⁴ *Зилов А.М.* Неаполь. Из записок русского путешественника. 1837 // Москвитянин. 1841. Ч. 2, № 3. С. 90.

Кровь их горяча как пламень Везувия, а воображение чисто и прелестно, как их небо. Неаполитанцы вообще остроумны и без пророчества умны и одарены здравым смыслом. Они столько же проникательны, сколько и хитры, умеют скрывать намерения под личиною простоты и добродушия, и из первых слов вникают во вкус, мнения и слабости человека; если же ему льстят, то почти всегда с намерением сказать на счет его эпиграмму.

<...> Мечтание о вольности льстит самолюбию Неаполитанца; но он под сим словом разумет полную свободу удовлетворять своим желаниям. <...> Неаполитанцы и в дурных, невыгодных для себя обстоятельствах сохраняют какую-то надменность в поступках. <...> Нельзя не удивляться, с какою гордостью похваляются они любовью к отечеству, своим прекрасным климатом и великолепием столицы. «Увидеть Неаполь и после умереть» – говорят они¹.

Н.И. Греч посвятил описанию типологического характера неаполитанцев целый параграф главы XV своих путевых заметок, назвав его «Характер неаполитанцев». И совершенно очевидно, что его антропологический образ Неаполя обязан не только личным наблюдениям автора путевых записок, но и литературным источникам: Греч, несомненно, был знаком и с «Письмами об Италии» Дюпати, и с «Письмами морского офицера» В.Б. Броневского², о чем свидетельствует весьма сходный с мнением предшественников взгляд Греча на истоки формирования неаполитанского народного характера и его основные черты:

Посреди <...> неустройств, волнений, кровопролитий, то при безначалии, то под тяжким игом иностранцев, которые думали только о том, чтобы извлечь вещественную пользу из временного владычества, образовался характер Неаполитанского народа, под вечно ясным небом, в благословенном климате, при избытке всех даров земных не имевшем надобности ни в труде, ни в заботах о будущем. К тому присоединялись невежество, суеверие и фанатизм духовенства, потворствовавшего пылким страстям черни и старавшегося удержать ее на низшей степени образования, следственно, и нравственности. Разумеется, что в этой общей массе есть исключения, многие и блистательные. <...> Я говорю только о целом, о том, что поражает, изумляет и терзает путешественника.

От природы одарены они [неаполитанцы] быстрым умом: легко понимают и помнят все, что видят и слышат. <...> Язык мимический доведен у них до совершенства: движением головы, глаз, уст, поднятием руки, ноги выражают они целые фразы, понятные всем им без исключения. Воображение у них пылкое, и чувство изящного развито в высочайшей степени³.

Главы книги Греча, посвященные Неаполю, претендуют на целостный охват всех традиционных тем русско-неаполитанского травелога.

¹ Броневский В.Б. Указ. соч. С. 257, 264–265.

² Имя Н.И. Греча значится в перечнях подписчиков «Записок морского офицера» В.Б. Броневского (Т. 1–4, М.: СПб., 1818–1819), которые регулярно печатались во всех 4 томах этого издания.

³ Греч Н.И. Указ. соч. С. 108, 293.

Поэтому особенно показательно то, что в финале параграфа, описывающего характер неаполитанцев, те крайности неаполитанской антропологии, о которых было сказано выше – персональный образ короля и собирательный образ простонародья, оказываются сопоставлены по признаку сходства, а не противоположности:

Известно, как коротко и дружелюбно покойный король Фердинанд I обращался с лаззаронами и как они его любили. Он был большой охотник до рыбной ловли: нередко выезжал в море на лодочке и, наловив рыбы большую плетеную корзину, сам продавал ее на рынке наряду с рыбаками. Лаззароны с ним торговались, порицали его товар, а он выхвалял его и, распродав всю корзину, в восторге возвращался во дворец и хвалился деньгами, добытыми трудом. <...>

Отправляясь в 1791 году во Франкфурт, на коронацию Императора Леопольда II, велел он позвать к себе голову лаззаронов (capo Lazzaro) Николая Саббатто и сказал ему: «Слушай, Николай, я еду месяца на два; смотри, чтобы здесь было спокойно». Саббатто отвечал: «Жалею, что вы едете, но для чего ж вам и не повеселиться? вы нас довольно тешите. Только о Неаполе не заботьтесь. Нас здесь тридцать тысяч человек: почему изменника, так разорвем его на тридцать тысяч кусочков <...>». В отсутствие короля Саббатто посещал принцев и принцесс, осведомлялся, здоровы ли они и не нужно ли им чего-нибудь. <...>

И ныне, в случае разрешения королевы от бремени, лаззароны посылают во дворец выборных, под начальством головы. Он берет новорожденного на руки, целует его и показывает народу. причем произносит речь, по обычаю Неаполитанскому, языком, руками и ногами¹.

Греч издал свои записки в 1844 г., когда короля Фердинанда I уже давно не было в живых. Записки же Федора Головкина, в которых приводятся аналогичные анекдоты о взаимоотношениях короля с простонародьем, к тому времени еще не были опубликованы. Трудно сказать, каков источник того полуанекдотического сюжета, который ставит на одну доску короля и лаццароне – вполне возможно, что это собственно-неаполитанская мифология, или, что более вероятно, устные предания, бытовавшие в русском дипломатическом корпусе.

И совершенно особенного внимания заслуживает еще один сквозной мотив неаполитанской антропологии – это периодические повествования о плутоватости и вороватости неаполитанского народонаселения. Динамика такого рода повествований особенно любопытна тем, что обнаруживает подспудное влияние художественной литературы на документальную, а в документальной выявляет самостоятельный смыслопорождающий потенциал неаполитанского топоса, который способен определить характер литературного сюжета, развернутого в этом топосе.

¹ Греч Н.И. Указ. соч. С. 294–295.

Одним из самых ранних художественных текстовых свидетельств о Неаполе в русской словесности XVIII в. стал неаполитанский эпизод изданного в 1763 г. романа Ф.А. Эмина «Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда». Здесь необходимо напомнить о том, что этот роман был более чем популярен у читателей XVIII в., особенно у очень молодых людей, что засвидетельствовано Карамзиным в романе «Рыцарь нашего времени». Вероятно, все русские писатели и публицисты, чья ранняя молодость пришлось на 1780–1790-е г., были хорошо знакомы с похождениями героев романа Эмина – Мирамонда и Феридата. Неаполитанский эпизод входит во вторую часть романа, почти полностью занятую обширной вставной новеллой, озаглавленной «История о Феридате»: считается, что образ Феридата является автобиографическим, а в основу сюжета «Истории о Феридате» легли события жизни и личные впечатления и воспоминания самого Федора Эмина, пользовавшегося к тому же итальянскими источниками информации, в том числе и о Неаполе¹.

Приключения Феридата, попавшего в услужение к министру короля Польского, кардиналу Альвани, и вместе со своим хозяином приехавшего в Неаполь, начинаются так:

<...> нанял мой господин дом возле эзуитского монастыря, и первое его посещение было эзуиту именем патеру Пепе учинено; сей эзуит в то время был славнейшим одного города мудрецом и во всяких министерских делах принимал участие².

Один из иезуитов подружился с Феридатом и начал склонять его обворовать своего господина. Феридат решил обмануть иезуита и притворился, что прислушивается к его уговорам. Сообщив своему хозяину, что он намерен принять христианскую веру (свой жизненный путь и Ф. Эмин, и его автобиографический герой начали в мусульманском вероисповедании), Феридат получил предприимчивого иезуита в наставники, однако услышал от него наставления отнюдь не в догматике католического вероисповедания: «Оставшись со мною наедине, мой учитель начал меня премудрой вдруг обучать науке, то есть, воровству» (С. 235). Феридат рассказал об интриге своему господину, иезуит был пойман на месте преступления и с позором изгнан из дома, а Феридат

¹ См.: *Гуковский Г.А.* Русская литература XVIII века. М., 1937. С. 209; *Рак В.Д.* Итальянские впечатления Феридата: (Об одном источнике романа Ф.А. Эмина «Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда») // XVIII век. СПб., 2004. Сб. 23. С. 89–92.

² *Эмин Ф.А.* Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда. СПб., 1763. Ч. 2. С. 230. Далее текст романа цитируется по этому изданию с указанием страницы в скобках.

получил сравнительную свободу, употребленную им на знакомство с неаполитанскими кофейнями и на рассуждения о политическом положении Неаполя, почерпнутые, как это установлено В.Д. Раком, из сатиры Траяно Боккалини «*Pietra del paragone politico*» [«Пробный камень политики»]¹.

Так у самых истоков русской неаполитаны топоним «Неаполь» оказался неразрывно ассоциативно связан с представлением о воровстве и плутнях. И, вероятно, именно эти подспудные представления заставляли русских путешественников последующих поколений периодически обращать внимание на свойственную неаполитанцам страсть к надувательству и мелкому воровству, отмеченную и в катехизисе русской неаполитаны, «Письмах об Италии» Дюпати:

В Неаполе обманывают друг друга чрезвычайным плутовством, но смеючись. Для Неаполитанцев все обхождение в жизни значит *игру с хитрейшим*. В других же местах оно есть *сражение с сильнейшим*².

<...> крадут, обманывают не столько из злого намерения, как для забавы³.

<...> я почувствовал, что кто-то полез ко мне в карман: <...> быстро оборотась, увидел, что какой-то охотник до табаку <...> запустил свои руки в оба кармана мои. <...> это первое приключение мое в Неаполе дало мне невыгодное понятие о нравственности здешнего черного народа⁴.

<...> всякие плутни, всякие обманы, особенно в отношении к иностранцу, считаются позволительными <...>. Кража шелковых платков из кармана прохожих есть всенародный промысел, которому никто не мешает, за который никогда не взыскивают⁵.

Итальянцы <...> особенно здесь упражняются в удивительном своем искусстве таскать платки из карманов (у иных несчастных таскают они по дюжине, один за другим)⁶.

Пожалуй, одним из самых выразительных свидетельств прочности этого представления русских о Неаполе может послужить еще один художественный текст, относящийся уже к 30-м гг. XIX в. и рисующий образ Неаполя несколькими резкими характеристическими чертами, каждая из которых является неотъемлемым сквозным атрибутом всех текстов классического периода русской неаполитаны начиная от самых ранних и кончая самыми поздними временами формирования ее совокупного локального текста:

¹ Рак В.Д. Указ. соч.

² Путешествие г. Дю Пати в Италию в 1765 году. Ч. 2. С. 193.

³ Лубяновский Ф.П. Указ. соч. С. 93.

⁴ Всеволожский Н.С. Путешествие... Т. 2. С. 8–9.

⁵ Греч Н.И. Указ. соч. Т. 2. С. 286–287.

⁶ Погодин М.П. Год в чужих краях. С. 163.

Вы, может быть, видели карикатуру, которой сцена в Неаполе. На открытом воздухе, под изодранным навесом, книжная лавочка; кучи старых книг, старых гравюр; наверху Мадонна; вдали Везувий; перед лавочкой капуцин и молодой человек в большой соломенной шляпе, у которого маленький лазарони искусно вытягивает из кармана платок¹.

Завязка сюжета новеллы В.Ф. Одоевского «Opere del cavaliere Giambattista Piranesi» примечательна не только тем, что ее автор черпал свои представления о Неаполе из литературных источников, поскольку он еще не бывал в Италии к началу 1830-х гг.; не только тем, что время действия новеллы отнесено к концу XVIII в.², наконец, не только тем, что экфрастическое описание вымышленной карикатуры с редкостной полнотой соединяет в себе приоритетные концепты русских представлений о Неаполе: «Мадонна», «капуцин», «лаццароне», «Везувий» (только лимонов не хватает в этом репрезентативном списке) и выдержано в стиле русского лубка, в полном соответствии с тенденцией доместикации неаполитанского топоса русским сознанием. Новелла Одоевского замечательна еще и тем, что образ Неаполя предстает в ней именно как антропологический, как это будет и в пушкинском отрывке «Египетские ночи», поскольку в обоих этих текстах топос персонифицирован в образе героя. Причем любопытно, что и персонаж Одоевского сохраняет в своем образе ту же характерную аксиологическую вибрацию: романтическая двойная мотивировка дает одинаковые возможности считать героя новеллы или безумцем, который возомнил себя великим гравером и архитектором, или в самом деле художником Пиранези, которого его нереализованные замыслы обрекли участи Агасфера. При этом особенно поразительно то, что реально-исторический Пиранези не имеет к Неаполю решительно никакого отношения и имя его с Неаполем никак не связано: сам Пиранези называл себя «венедианским архитектором», а вся его творческая жизнь прошла в Риме³.

Задавшись вопросом о причинах, которые могли побудить Одоевского не только увидеть в образе художника Пиранези воплощение одной из граней своей эстетической концепции, но и поместить вымы-

¹ Одоевский В.Ф. Сочинения: в 2 т. М., 1981. Т. I. С. 56.

² Новелла Одоевского была впервые опубликована в 1831 г. в альманахе «Северные цветы» на 1831 г. Если предположить, что время рамочного повествования синхронно времени создания новеллы, т.е. концу 1820-х гг., то ее герой-библиофил, «человек пожилой, степенный» (Там же. С. 55) должен был родиться в конце 1760-х гг. и попасть в Неаполь на исходе XVIII в., приблизительно в 1798 г. (в тексте повести упомянута дата смерти Пиранези – 1778 г. Там же. С. 60).

³ О Пиранези в русской литературе см.: Меднис Н.Е. Пиранези в русской литературе XIX – первой половины XX в. // Образы Италии в русской словесности. Томск, 2008. С. 15–27.

шленную им посмертную историю великого итальянского гравера в неаполитанский топос наряду с такими несомненно неаполитанскими и при этом в равной мере антропологическими концептами, как «капуцин» (духовное лицо), «Везувий» и «лаццароне», можно заметить, что имя Пиранези вызывает немедленную ассоциацию с двумя идеями, которые навеяны самыми знаменитыми циклами его гравюр: это «Римские древности» и «Тюрьмы». Если опустить эпитет «римские», то идея памятников древности для русских в конце 1820-х – начале 1830-х гг., когда Одоевский написал свою новеллу, была однозначно связана с окрестностями Неаполя, Помпеей и Геркуланумом. Что же касается тюрем, то год публикации новеллы был своего рода печально юбилейным: в 1831 г. исполнилось 10 лет со времени подавления восстания карбонариев, и широко известный в России карбонарий Сильвио Пеллико все еще сидел в тюрьме и дописывал свою книгу «Мои темницы». Кроме того, упоминание имени Агасфера в тексте новеллы Одоевского ассоциативно связано с перифрастической номинацией вечного скитальца, причем эпитет «вечный» активно корреспондирует с идеей ахронности неаполитанского топоса, воплощенной, между прочим, и в мироощущении неаполитанских лаццарони: «Они не помышляют о завтрашнем дне, скоро забывают прошедшее и живут только в настоящем»¹. Наконец, и циклопические замыслы героя Одоевского, соотносимые с миром экстраординарных пропорций на гравюрах исторического Пиранези, во-первых, не кажутся совсем уж неосуществимыми в «краю чудес», а во-вторых, выглядят очень уместно в таком топосе, где сама природа предстает как искуснейший архитектор и создатель грандиозных ландшафтных ансамблей Везувия и его окрестностей, Сольфатары и горы Monte puovo, Неаполитанского и Байского заливов с прихотливо разбросанными по ним островами самой причудливой формы.

Вообще, творческое наследие Одоевского заставляет осмыслить один очевидный, но как-то ускользающий от внимания факт: сюжеты двух его новелл, имеющих итальянские заглавия «Opere del cavaliere Giambattista Piranesi» и «Imbroglione», развернуты именно в неаполитанском топосе, и при том, что больше ни в одном итальянском городе действие ни одной из новелл Одоевского не происходит, это наводит на мысль об определенной генерализующей роли, которую неаполитанский топос и образ неаполитанца приобрели для русских к началу 1840-х гг. XIX в., как символические заместители представления об Италии и итальянцах вообще: в это время «чтение» Рима еще только начиналось, а эпоха увлечения Венецией и Флоренцией была далеко

¹ Греч Н.И. Указ. соч. Т. 2. С. 285.

впереди. И в новелле «Imbroglia» (а здесь стоит заметить, что кроме значений «путаница» и «затруднение», это слово имеет и такие значения, как «обман, мошенничество», хорошо корреспондирующие с приоритетными мотивами неаполитанской антропологии) развернут типологический сюжет, не только основанный на запутанной любовной интриге, пылкой страсти и обмане, но и откровенно травестирующий русско-неаполитанский травелог: значение «обман» хорошо корреспондирует с сюжетом новеллы Одоевского, поскольку и рвавшийся к неаполитанским красотам герой Одоевского, и настроенный на неаполитанскую дескрипцию читатель его новеллы остаются обманутыми в своих ожиданиях: в Неаполе герой новеллы Одоевского проводит время в основном не в созерцании чудес природы и памятников древности, а в тюрьме или в добровольном строгом уединении, вдали от кипящей стихии неаполитанских улиц.

Надо сказать, что на протяжении достаточно долгого времени, от первого десятилетия XIX в. вплоть до начала 1840-х гг., эта стихия не вызвала особых восторгов у русских посетителей Неаполя – скорее наоборот: за очень немногими исключениями (к которым относится прежде всего Гоголь), все антропологические дескрипции окрашены отчетливо негативной интонацией:

Люди все сделали в Риме, а в Неаполе все произвела природа. <...> Здесь должно закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы вопли нищих, уличные крики и рассказы об убийствах и разбоях не мешали наслаждаться сокровищами роскошной природы.

<...> улицы <...> все тесны и напичканы народом. <...> Почти беспрепятственный шум и крик неаполитанцев слышен на вершине горы С. Эм <...>. волынки калабрийских пастухов, звонкие голоса разносчиков, вой нищих <...> пение женщин и ребятишек, ходящих с крестами <...> составляют оглушительную нескладницу, которой звук, думаю, будет преследовать меня до самой границы¹.

Какое небо, какой воздух, какая растительность могут быть приятны там, где человек, венец творения, стоит на низшей ступени!²

<...> нельзя наслаждаться без примеси горечи: нахальный и необузданный народ не дает покоя путешественнику: проводники, сторожа, нищие, мальчишки, все хотят брать оброк с пришельца; крик и шум выводят из терпения, так что все внимание к предмету теряется и остаешься с одним чувством досады. Всевозможные хитрости употреблены, чтобы выманить деньги у иностранца³.

Совершенно очевидно, что основной причиной такого неудовольствия является преобладающая типология русских путешественников

¹ Шаховской А.А. Письма из Италии // Сын отечества. 1817. Ч. 36, № 7. С. 3, 5–6.

² Греч Н.И. Указ. соч. С. 279.

³ Зильов А.М. Указ. соч. С. 89.

этой эпохи: вплоть до конца 1830-х гг. живописателями неаполитанского региона были в основном или профессиональные литераторы, или их просвещенные и квалифицированные читатели, принадлежавшие к образованной элите русского общества. Перемену отношения к народной жизни Неаполя принесли с собой именно модификации этой типологии: начиная с 1840–1850-х гг., и особенно к 1860-м гг., состав русских путешественников заметно демократизировался. И первым предвестием этой демократизации и, соответственно, поворотным пунктом в антропологическом разделе русской неаполитаны стало travestированное путешествие, пародия не столько на жанр травелога, сколько на субъект его нарратива: поэма И.П. Мятлева «Госпожа Курдюкова за границую, дан л'этранже».

При том что посвященные Франции, Швейцарии и Италии части поэмы Мятлева сильно уступают поистине шедевральной немецкой части, поскольку в них уже началось тиражирование приема travestии субъекта русско-европейского травелога, три неаполитанские главы итальянской части поэмы весьма показательны с точки зрения эволюции русской неаполитаны. Именно travestированный субъект травелога, провинциальная помещица госпожа Курдюкова, глазами которой Мятлев, ведущий свою комическую героиню своим собственным европейским маршрутом, смотрит на Европу вообще и Неаполь в частности, щедро наделяя тамбовскую барыню своей широчайшей эрудицией и высокой книжной культурой, но не забывая при этом и о собственных интересах и пристрастиях своей travestированной маски, оказалась способна не только перебрать все устойчивые мотивы неаполитанской дескрипции (а от внимания мадам Курдюковой ничто не ускользнуло, начиная от Везувия и заканчивая памятниками античной древности и ландшафтными красотами неаполитанского региона), но и ввести в нее нечто новое.

И это новое относится не столько к объектам описания – они как раз вполне традиционны, ибо тамбовская помещица идет, естественно, по следам поэта Мятлева, которого, разумеется, интересует именно то, что и должно интересовать высокообразованного русского путешественника, к тому же аристократа, поэта и друга многих русских литераторов, воспитанного на книжной культуре недавнего прошлого и априорно осведомленного о неаполитанских красотах, неаполитанских памятниках Античности и об итальянском искусстве вообще по письменным памятникам и литературе путешествий начиная с «Писем об Италии» Дюпати. Новое – в том, что может в Неаполе оказаться интересным и привлекательным для носителя профанного сознания, человека, не ставящего эстетические впечатления на высшую позицию в иерархии жиз-

ненных ценностей и неспособного к натурфилософской, культурологической и историософской рефлексии – маловероятно, что фрагменты мятлевской поэмы, насыщенные этой традиционной для травелога 1800–1830-х гг. рефлексией, относятся к сфере сознания мадам Курдюковой. Зато героиня Мятлева отличается несомненным здравым смыслом и острым глазом на повседневную жизнь и ее типичные бытовые проявления.

Может быть, именно поэтому одним из первых впечатлений тамбовской помещицы в Неаполе становится ощущение торжествующей витальности неаполитанских будней:

Но Неаполь *отре шоз*
 Поутру мне показался,
 Чем вчера, когда являлся
 При сияющей луне,
 В небо не хотелось мне,
 А житейское пленяло,
 Все к веселью призывало <...>
 Все хотелось бы шататься,
 Ротозеять, любоваться,
 Даже некогда читать,
Фар низнте – благодать¹.

«Муравейник настоящий *Ле Неаполь*» явно очаровал мадам Курдюкову многолюдной, бурной и разнообразной жизнью своих улиц и площадей:

Де солда, де лаззарони,
 Тут варятся макарони <...>
 Тут кричат, поют и свищут,
 Тут бранятся, а тут ищут
 Друг у друга в голове;
 Тут на камне, на траве,
 Спит себе благополучно
Лаззарони <...> (556).

При всем мотивно-образном сходстве этой дескрипции с теми эпизодами литературы путешествий, которые посвящены неаполитанским нравам, она резко отличается от них своей позитивной интонацией. Именно поэтому лишенный антропологических наблюдений в собственном смысле слова образ Неаполя, вырастающий на страницах совмест-

¹ Мятлев И.П. Стихотворения. Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границу, дан л'этранж. Л., 1969. С. 554. (Библиотека поэта. Большая серия). Далее текст поэмы цитируется по этому изданию с указанием страницы в скобках.

ного творения поэта Мятлева и тамбовской дамы Курдюковой, можно назвать антропоцентричным: он весь освещен и определен специфически неаполитанским чувством радости жизни и повседневного ее праздника. Понятно, что это чувство включает в себе именно антропологический компонент неаполитанского топоса: его народонаселение. Именно его, это особое неаполитанское настроение, впервые в истории русского травелога уловила тамбовская помещица и воплотил в своей поэме ее alter ego, поэт Мятлев.

Сфера абсолютного туристического предпочтения живой сиюминутной жизни неаполитанской уличной толпы всем историческим достопримечательностям и культурным памятникам приводит к тому, что основные вехи неаполитанского итинерария и традиционные аттрактивные объекты региона вызывают у мадам Курдюковой какие угодно эмоции, но только не восхищение. Нам уже приходилось говорить о том, что одной из первых жертв тамбовской помещицы в Неаполе пала могила Вергилия, место уединенных меланхолических размышлений о скоротечности жизни и нетленности славы: «На горе *томбо* и сбоку! // И, быть может, *апокриф*, // Так грешна ль я, пропустив? // Мало вижу я в нем толка <...>!» (563). Не посчастливилось и хваленым красотам и природным феноменам Байского побережья:

Но есть также много вздору.
Например, ведут вас в гору
И вам кажут погребок,
Где источник – кияток
Натуральный совершенно:
В три минуты непременно
Можно лицо испечь. <...>
А к чему такие речки?
Кухни есть на то и печки (565).

И даже прославленные устрицы озера Фузаро, которые помимо своих собственных отменных вкусовых качеств прельщали русских путешественников культурно-историческими ассоциациями, связанными с мифопоэтической историей бывших Элизиума, Аяда и Ахерона и с преданиями о римской старине (Лукулловы пиршества), не привлекли тамбовскую помещицу, вообще-то склонную к гурманству и очень чувствительную к гастрономическим реалиям объезженных ею стран:

Есть и озеро Фузаро –
В нем строешь плохо, старо,
И все устрицы едят,
А завел их, говорят,

Там Лукуллус, эн обжора!
Но для этакого вздора
Ездить нечего *си луэн*:
В Наполе их ешь <...> (565).

Но, конечно, подлинной вершиной этой смеховой дискредитации традиционных дескрипций стало мнение практичной и деловой г-жи Курдюковой о знаменитом гроте, прорубленном римлянами сквозь утес Позиллипо:

Удивительный народ!
Здесь он продолбил *юн грот*
В две версты почти, сквозь гору,
И еще в такую пору,
Как ни порох, ни *вапер*,
Ни их даже *евантер*,
Ни *ле* гальванизм чудесный
Еще не были известны <...>
Мон афер э ле коте,
Но никак не понимаю,
Сколько я ни рассуждаю,
Для чего, *пур кель юзаж*
Сет египетский *увраж*? (562).

Однако ущерб, нанесенный простодушной тамбовской помещицей мифопоэтике и культурологии неаполитанского региона, не остается без некоторой компенсации за счет того, что Неаполь г-жи Курдюковой густо населен самыми разнообразными людьми, прямо и косвенно, пофамильно и перифрастически то и дело упоминаемыми на страницах поэмы Мятлева. Здесь есть реальные лица: неаполитанские «Королева и король», русский посланник в Неаполе и его жена, русский престолонаследник великий князь Александр Николаевич со своей свитой (и Мятлев, и мадам Курдюкова посетили Неаполь именно в 1839 г., когда наследник совершал свое ознакомительное путешествие по Европе), и даже сам поэт Мятлев, встреченный г-жой Курдюковой на бале в Академии. Здесь есть и вполне вымышленные персонажи, которые, однако, представлены как жители Неаполя: чичероне тамбовской помещицы, «лон-лакей Антонио Руффо», безымянный уличный импровизатор кин-тасторьо, учтивые неаполитанские кавалеры «Фриньяно, Чимитиле, // Имперьяли, мусье Бер // И какой-то кавалер // По фамилии Пизани – // Уж такие куртизаны, // Особливо русских дам» (560). Наконец, неаполитанские главы поэмы буквально перенасыщены обобщенными антропологическими номинациями: «Все *де дюк е де марки* <...> // И все в шпорах и с усами», «*де жандарм*», «но как хороши *ле дам*», «А как

много тут Фенелл», «Лазарони, и солдаты, // И монахи <...>» – и т.д. В результате антропологический образ Неаполя оказывается обрисован хотя и бегло, но с исчерпывающей полнотой: прихотливо перемежающиеся упоминания реальных и вымышленных людей, собирательные номинации неаполитанцев и наводняющих город туристов вкупе с периодически мелькающими в повествовании историческими именами, связанными с Неаполем (Нерон, Агриппина, Калигула, Вергилий, Цицерон), – все это сообщает образу Неаполя, вырастающему со страниц пародийного путешествия, совершенно антропоморфный облик: не случайно первые же неаполитанские реалии, глубоко впечатлившие г-жу Курдюкову, – Везувий и панорама города, раскинувшегося полукругом по берегу залива, – предстают в совершенно антропоморфных аллегорических воплощениях:

<...> во-первых – море,
Точно бирюза в растворе,
И, как зеркало, *транкиль!*
Смотрится в него *ла виль*,
Как кокетка перед балом,
Изумрудом и кораллом
Разукрасив волоса <...>.
Ла кокет руками нежно
Обнимает *сон мируар* <...>.
Далее прельщают взгляды
Три чудесные наяды:
Искья, Прочида, Капре (549).
Мне Везувий показался
Посреди картины всей
Точно старый чародей. <...>
В размышленьях дикой страсти,
Без надежды и без власти
На красавицу глядит
И, ревнуя к ней, следит
Все ее движенья, взоры! (550).

Пародийно-ироническая, комическая и временами истинно смешная поэма Мятлева стала концом классического травелога русской словесности первой половины XIX в. Несомненно, смеховое начало этой пародии, направленной не столько на сам жанр русских путевых заметок, сколько на их успевшие заштамповаться в течение полувека сюжетно-тематические мотивы, которые профанное сознание выворачивает наизнанку в своей специфической рецепции породивших их реалий, до некоторой степени деконструирует первообраз, пародирование которого никоим образом не входило в задачи Мятлева, очарованного Неаполем ровно в той же мере, в которой он очаровывал всех

просвещенных русских путешественников этой эпохи. Однако, как уже говорилось выше, бывают такие концы, которые одновременно являются началами, и именно к этому разряду относится поэма Мятлева. Антропологический аспект, в своих самых общих очертаниях возникающий на страницах поэмы Мятлева как доминанта неаполитанского топоса в рецепции новой генерации его русских дескрипторов, в дальнейшем станет определяющим для таких несомненных шедевров русской неаполитаны середины XIX в., как книга В.Д. Яковлева «Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. 1847» (СПб., 1855), и начала XX в., как книга Павла Муратова «Образы Италии» (СПб., 1922).